

**«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
(Муся Пинкензон 1942)**

На Кавказской шла посадка. В вагон входили транзитники из Ставрополя, местные станичники, командированные, которых в эту хлопотливую уборочную пору немало бывает в кубанских станицах. Мимо нашего купе проплывали огромные чемоданы, сетки с душистыми яблоками, озабоченно сновали пассажиры, потому что невозможно проехать мимо Кавказской, чтобы не купить огромный арбуз или ароматные дыньки.

В дверях нашего купе показался инвалид. За плечами у него – армейский вещмешок, в руке – новенький чемодан.

– Вот что, товарищи, – усаживаясь рядом с нашим попутчиком-студентом, сказал мужчина, – уж не взыщите. Кого-нибудь из вас я побеспокою. Неловко мне на верхней полке своей культей махать.

– Пожалуйста, папаша! – засуетился студент и начал переключать свои пожитки.

Поезд тронулся. Пассажиры утомонились. Проводница постелила инвалиду постель, и он, покончив со своими дорожными делами, заскучал.

– Ты, молодой человек, никак, студент? – повернулся инвалид к нашему спутнику.

– Студент.

– Домой или из дому путь держишь?

– Из дому. К старикам в Туапсе ездил.

– А учишься где?

– В Москве.

– В Москве – это хорошо! – одобрил инвалид. – Вот я тоже в Москву еду. Хоть рассмотрю ее по-настоящему. А то в сорок первом, когда эта самая петрушка со мной приключилась, – он показал на деревянную ногу, – что там можно было увидеть? Эвакопоезд, вокзал. На автобусе два раза по каким-то улицам провезли. Вот и всё. А потом дальше, в Горький. Ну, теперь-то я своё возьму!

Мужчина расстегнул пиджак, отколол от бокового кармана булавку и достал сложенную втрое бумагу.

– Вот, по путёвке еду. От артели. На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Всё как полагается.

Он принялся рассматривать документы.

В купе стало тихо. Ровно стучали колеса.

За окном до самого горизонта дрожало в мареве иссушенное солнцем и ветрами жнивье. Курились пылью степные дороги. Только изредка на жёлто-серой равнине горбились огромные скирды прошлогодней почерневшей соломы.

Инвалид щёлкнул прокуренным ногтем по путёвке и, словно продолжая давно начатый разговор, сказал:

– Электростанциями интересуюсь. Моторист я. – И, помолчав, обратился к студенту: – А ты, молодой человек, если не секрет, какой специальности обучаешься? Не по моторам, часом?

– Да нет, редкая у меня специальность, – почему-то смутился студент. – Я в консерватории учусь. По классу кларнета. Это такая труба... вроде рожка...

– Так ты же, сынок, хорошему делу учишься, а будто стыдишься. Людям без музыки никак нельзя. Эх ты, чудак-человек! Я-то всюду свою музыку вожу. – Мужчина проворно повернулся к новенькому чемодану. – Если, конечно, не возражаете...

В чемодане рядом с домашними ватрушками и банкой масла, завёрнутая в пёструю ситцевую тряпицу, лежала скрипка. Мужчина развернул её, обтёр и приложил к подбородку.

– Вот, скажем, вальс у меня любимый, – произнёс он мечтательно и занёс смычок.

По вагону поплыли, заплескались «Дунайские волны». В наше купе уже заглядывали пассажиры. Инвалид преобразился: его лицо то хмурилось, то освещалось улыбкой.

Вдруг он опустил смычок и обернулся виновато к проводнице:

– Может, нельзя? Беспокойство пассажирам?

– Играйте, пожалуйста! Какое же от музыки беспокойство. Мы слушали «Лунную сонату», «Жаворонка», «На сопках Маньчжурии».

– А инструмент-то у вас старенький, – заметил студент, когда попутчик опустил скрипку на колени. – Вот в Москву едете, новую бы купили.

– Нет, парень, я её ни на что не променяю. Это о человеке память. Видишь, пулей пробита. Залатал, зашпаклевал...

Все по очереди рассматривали раненую скрипку.

– С сорок второго года она у меня.

И наш новый знакомый рассказал историю этой скрипки.

– Вот в таком виде, – рассказчик кивнул на свою деревяшку, – выписали меня из госпиталя. А родом я из-под Усть-Лабинска. А тут враг под Миллеровом прорвался. Да как стал жать! Через Шахты, через хутор Веселый, через Пролетарскую на Краснодар да на Кавказскую как повалит!.. Места ровные. Нашим зацепиться негде. Сушь. Дороги накатаны. Вражьи танки так и пылят.

У нас в Лабее эвакуация началась. А мне-то как на одной ноге от танков прыгать? А они тут как тут. На броне львы да слоны намалеваны. Пехота ж вступила – срам один. Солдаты в коротких штанишках. Волосатые ноги так и мелькают. Из Африки войска-то были. Как по ихнему радио передавали, «доблестного фельдмаршала Роммеля». Глядим, свеженькие. Видно, не шибко давал им англичанин «прикурить» в этой самой Северной Африке.

Сразу приказов на заборах понаклеивали: большевикам, дескать, комиссарам и командирам явиться на сборные пункты, евреям – на регистрацию. Много ещё всякого понаписывали: больше трёх человек не собираться, после десяти часов на улицах не появляться. И что ни приказ – всё словом «расстрел» кончается.

Ну и, конечно, началось. Что ни день, только и видишь: то одного, то другого в гестапо волокут. По странице пальба идёт. Уцепится баба за своего гуся, не даёт мародёру, а тот чесанул из автомата и пошёл. Да что там! Один мальчонка змея из ихней листовки склеил, так и мальчонку, и мамашу на месте убили.

Так вот об этой самой скрипке... Работал в нашей станичной больнице хирург Пинкензон. Хороший был человек. Прямо сказать, безотказный. В ночь-полночь приходи – примет. Все его знали у нас. Кому язву желудка вылечил, кому аппендицит. А сколько мальчишек через его руки прошло! Не счесть! Один на

бутылочное стекло напоролся, другого ногу сломать угораздило, третий рогаткой добаловался.

И вот по станице слух прошёл, что арестовали Пинкензона. Говорили, что привезли его в штаб и приказали, чтоб он их раненых лечил. А Пинкензон отказался. «Не буду, – говорит, – у вас доктора есть. У меня своих больных полно».

Как-то утром бегут по дворам полицаи и приказывают на площадь идти.

Согнали нас. На площади виселица стоит. Вокруг фашисты расхаживают, зубы скалят.

Потом, слышим, по толпе покатилося: «Ведут! Доктора ведут!» Гляжу – идёт под охраной Пинкензон, а рядом сынишка его, Муся, мальчонка лет четырнадцати. Справненький такой, волосы чёлочкой пострижены, чёрная курточка бархатная на нём.

Шум по станице пошёл. Ну, доктор лечить фрицев отказался, а мальчонку-то пошто убивать? А тут бабы и говорят, будто пришли Пинкензона забирать, увидели мальчишку и загалдели: «Этого щенка тоже повесить надо: наверное, пионер!».

Словом, ведут их. Толпа расступается. Пинкензон голову высоко держит. А мальчишка, представляете, вот с этой самой скрипкой идет.

Привели. На помост поднялся сам оберст. Достал бумагу и стал читать по-немецки. А полицай переводит: «Казнить врача Пинкензона как большевика и саботажника».

Оберст кончил читать и что-то солдатам крикнул.

Тут мальчонка, этот самый Муся, к нему обращается по-немецки.

Учительница рядом со мной стояла, перевела: «Господин полковник, разрешите мне перед смертью сыграть на скрипке».

Оберст улыбнулся: «Коль в тебе такая блажь завелась, играй».

Муся взял первую ноту, а у самого губы дрожат. Поначалу я не догадался, что он играет. А как несколько раз по струнам прошел, понял: «Интернационал».

Оберста аж передернуло.

«Свинья! Щенок!» – завопил фашист и бросился к мальчику.

Но Муся, не отрывая взгляда от толпы, все играл. Станичники подхватили мелодию. Сначала чуть слышно, потом все громче над площадью зазвучал «Интернационал».

Оберст выхватил пистолет и выстрелил в мальчика. Тот покачнулся, но продолжал стоять. Оберст выстрелил ещё раз. Муся упал, а его скрипка скатилась с помоста к моим ногам. Я схватил её и спрятал под пиджак.

Толпа продолжала петь. Разъяренные гитлеровцы бросились на людей. Поднялась стрельба...

– С тех пор я играть научился, – закончил свой рассказ инвалид. – Сначала «Интернационал» подобрал...

Стало тихо-тихо. В дверях купе столпились пассажиры. Студент бережно, как живое существо, взял из рук инвалида скрипку и передал её соседу. Раненая скрипка переходила из рук в руки...

Публикуется по: Великанов, В. Интернационал // Дети-герои / сост. И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин. – Киев, 1985 (<http://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov/19/>).